

ПЁТР КРАСНОВ



УШЛЫЕ

РАССКАЗ

I

Он когда, в какой момент прощания понял, что самое, может, большое сердцу в жизни, в этом бытии под ныне тихим предосенним, в голубенькой размытой акварели небом, среди негромкой затем суеты поминального обеда — испытание любовью? Когда, расставаясь навек, не поцеловал, а прижался, мучительно притиснулся лбом к бумажному венчику на спокойном, только чуть удивлённом материнском челе — к ней, маме, без которой не мог представить своего существования ни во все его давно зрелые, на пятом десятке годы, ни даже теперь, пред свершившимся, тем более в мутном, обещавшем лишь ноющую память будущем? Или когда, не дожидаясь, пока все разойдутся с поминок, жену оставив с сыновьями и сестрой прибираться, на “жигулёнке” своём вернулся на кладбище и от креста переходил к кресту, к пирамидкам с поржавевшими звёздами и крестиками, к новым под мрамор плитам стоймя, в фотографии вглядываясь, в полужнакомые лица, озабоченные, всё ему казалось, тайной и, одновременно, неким знанием той другой, уже посмертной жизни своей? А потом повернул опять к родительской могилке, к свежей, кусками дёрна обложенной и не успевшей ещё высохнуть и поблёкнуть глине её пополам с чернозёмом, под которой неведомо

КРАСНОВ Пётр Николаевич родился в 1950 году в с. Ратчино Оренбургской области. Окончил Сельскохозяйственный институт и Высшие литературные курсы. Печатался во многих периодических изданиях, автор полтора десятка книг прозы. Лауреат многих литературных премий, в том числе им. И. А. Бунина, им. Александра Невского “России верные сыны”, “Ясная Поляна” им. Л. Н. Толстого. Живёт в Оренбурге.

как пребывала ещё во плоти она, мать его, — и в то же время, он знал, её уже там нет, не было...

И не спросить — где, некого, хотя так много крутом их, на тебя глядящих с молчаливых крестов и надгробий, с выгоревших и потускневших порой до неузнаваемости, неприязательных по-сельски фотоизображений, подобию лиц и глаз, некогда живых. Всё та же двойственность являла себя здесь, настаивала на себе, душу и мысль надвое размывала: их, отстранённо глядящих на него и некой думой, тайной своей занятых, ему недоступной, нет здесь давно — и все они, тем не менее, тут, и не только в тяжёлой материковой глине той, но во всём... в обустрое кладбища самого, да, сиренью и берёзами обсаженного, шелестом и вздохами зрелой листвы встречающего всякого, кому затосковалось отчего-то по ушедшим, кого безгласно позвали они, да в том же сельце их Рязановке, речной низиной разбросанном среди огородов и садов, где каждое бревно или кирпич их руками уложены, обихожены, каждая дощечка прибита, всякий саженец взращен.

Перекрестился ещё раз перед родительской, с похороненным тут пятью годами раньше отцом и теперь навечно на двоих оградкой. И выбрался из рядов могил с пожухлыми, а то и свежими совсем венками и цветами, со всем этим наивным бумажным разноцветьем, простосердечными попытками увлажнить, заговорить ли смерть и саму свою всегда виноватую память; и прошёл на недавно пригороженное, для других своих приуроченное сельскими властями место, сел на травку, закурил.

Его, Сарычева, только и отпустили, что на похороны, завтра уже надо было уезжать. На днях ожидалась отправка на полигонные испытания их “изделия”, и ему, ведущего конструктора замещающему, при всём желании никак нельзя было отложить дела важнейшего этого, на которое потрачено столько изнурительных, долгое время неудачных поисков главного решения, столько накачек и наездов от московского начальства выдержано, что уже на грани закрытия завис проект. В другой ситуации он постарался бы и девятого дня материнского дожидаться, отгулов на целый отпуск набралось, и пожил бы тут, на родине всего, что в нём есть кровного, в домишке изначальном своём, по местам заветным побродил... ох как давно не навещал их, не успевая в коротких приездах сюда оглядеться, отцу-матери толком помочь по немудрёному хозяйству, да на речке хотя бы посидеть, окушков подёргать. После смерти отца чаще навещался, уговаривая мать переселиться к себе, комнату ей даже с женой приготовили, но та отмахивалась только: нет уж, от своего никуда... Рядом, в райцентре, жила семейно и Ольга, сестрёнка, приглядывала за ней, будучи сама врачом, и кабы не тромб этот... Но что теперь и на кого пенять — на себя, на жизнь самоуправную? Ей наша тоска, наши жалобы — что есть они, что нет. Вот и дом сиротою остался, соседскому догляду препорученный уже, и скоро ли доведётся хотя бы на побывку заглянуть сюда — он и сам не знает, третий год без отпуска, на “передке”. А уж чтобы вернуться, поселиться здесь...

И не первый он, не последний такой из крестьянских детей, какие разрываются между делом городским, в его-то случае не меньше чем государственным, край как нужным не ему же одному, а всем, и повелительным подчас желанием жизни иной, иного же и дела, не навязанного случайными обстоятельствами, а то и причудами судьбы, а изначала сродного тебе, простого, но полноценного, дающего душе уверенность в исполнении долга своего, все мы здесь должники, и вместе с тем и покой бытийственный — которого давно уже не находил в себе, и не только из-за бывающих неудач профессиональных. Из кого-то, более-менее успешных, желание это давно и начисто повыветрено урбанистическими со смогом пополам сквозняками, у иных замешено лёгкой, временами несколько обостряющей предотпускной ностальгией, хотя предпочитают-то ей Хургаду или, на худой конец, Гурзуф. И лишь совсем немногим достаётся это как некая родовая заноза, какую зубами не вытащить, и нет-нет, да слышишь, читаешь ли, как некто, продав жильё городское, срывается к отчому поближе, к изначальному, есть такие.

Понятно было, что срабатывает тут и давно известное недовольство собой и жизнью своей, какое нередко в русском человеке, где бы он и как ни жил,

и если даже прирождённых горожан порою сманивает сельское житьё, то что уж о нашем брате говорить. Другое дело, что и в селе-то сейчас не то что не мёд, а самая что ни есть разлуха ползучая всего, что он знал, любил и помнил, и потому если и придётся кому возвращаться, то лишь к остаткам жалким жизни былой, какая вольно шумела здесь и полна была опережающим все наши того времени вопросы-запросы собственным своим, естественным смыслом.

И он наверняка тоже маялся бы теперь этим, когда бы волею целой вереницы отнюдь не случайных, в чём-то, верно, предопределённых понуждений, судьбою у нас именуемых, не нашёл в городе своего дела, оправдывающего всё, в числе том и необходимость числиться горожанином, жить не то что бы чужой, но и не вполне будто своей волей и жизнью души, обязанностями, ей навязанными или взятыми на себя по доводам рассудка и совести, всё того же долга... на соглашении, да, на контракте с неизвестным сроком действия — в реальности пожизненном, скорее всего, хотя ютилась едва ль не в подкорке не то что надежда, а так, полумысль некая отойти когда-нибудь потом от дел, наконец-то осуществлённых, и поселиться на остаток дней где-нито на бережку, окнами на бегущую воду...

Да ведь и знал, что не сбыться этому, слишком сурово оборачивалось время для всего, что он своим кровным считал, что обязан заслонять от неумного, совсем уж оборзевшего и себя теперь ничуть не скрывающего зла.

Сидел на прогретой сентябрьским приусталым солнцем траве, курил, глядел на разнобой крестов, оградок и плит, поселение второе и последнее на грешной и нашими, и чужими грехами, на своей земле своих людей — да, никак не чужих ему, многих тут он знал или не сразу, но узнавал в неуловимо чем знакомых, в отроческой ещё памяти оставшихся лицах, глазах... Родственных, не меньше, все здесь переплетены, как дернина корешками, породнены близкими ли, дальними связями семейными, узами генетически целого, не разъять, за два-то с лишним века, после переселения сюда прошедших со времён Екатерины, не считая даже веков прародины рязанской. Все родня ему здесь единокровная, все свои...

И горячим невольно подкатило к горлу и глазам, любящим; угнулся, пересиливая, досталось в эти дни сердцу, что ни говори. Всё своё, и есть что помнить ему и до последнего часу не забывать, даже вовсе для памяти ничего вроде не значащее. Она вокруг всегда была, родина, и во всём открывалась, сказывалась, несказуемой оставалась, тайной, хотя все отдельные проявления её никак не сокрыты были, на глазах повседневно, в обыденности, в самой что ни на есть малости порой. Горьковатый и чуть пряный запах, вкус ли лопушка, вороночкой свёрнутого, каким отец учил его, мальчика, пить из родничка холодную железистую воду, — после того, как отъехали они на "газоне" с полным кузовом тёплого зерна от запаленно грохочущего всеми сочленениями своими комбайна, в мареве пахучей хлебной пыли и соляного чада плывущего, и свернули вниз, в ростошь, заросшую тёмным ольшаником и осоками лошину, под спасающую от зноя шелестящую многоречиво, каждым листочком лепечущую высокую сень... Или медлящими на мгновение-другое искрами многоцветными переливающимися снег, хрупающий, на все голоса разговаривающий с тобою, ревниво подвизгивающий каждому шагу, а над ним мутный окрасок луны в морозном облачке, крещенская прозрачная ночь — и, разговору снега не внимая, звенящая поверх всего тишина, всегда словно ждущая чего-то от тебя... того, наверное, что ты подумать можешь, сказать ли, сделать, к тебе именно обращённое требование смысла — кто ты? зачем здесь? на какое дана тебе дело во всевладение земля эта, ныне заснеженно спящая, но готовая в сроки свои отдать сторицею всё, что ты вложил в неё? Многое ждалось от тебя, неразумного ещё, родиной молчаливой, всякого претерпевшей с избытком, и оправдать ожидание то хотя бы частью, малым делом своим — это как перед семьёй, без слов лишних, тем паче натуг патристических, каких терпеть не мог, с тою же обыденностью, с какой сенокосили, картошку копали в огороде или на призывной в райвоенкомат собирались, два десятка лет тому и он в ракетных радиотехником отслужил, о профессиональном за деньги наёмничестве тогда и речи быть не могло.

Всё здесь наше, семейное, могилами укоренённое, трудами непрестанными, надрывными порой, вздохом первым и последним же каждого, кто упокоился тут, всему простив, верить хочется, и всё благословив. И ему среди них, когда срок придёт, исполнится, впервые подумал, да нет — уже решил он, и ни где больше.

II

Город сразу взял в свой учащённый, как сердцебиение не совсем здорового, одышливо спешащего куда-то субъекта, оборот, и Сарычеву пришлось едва ли не разрываться меж самыми неотложными делами. Запустив с сотрудниками, ребятами молодыми большей частью, по человечку отобранными со студенческой скамьи в эти пять-семь лет и на идеи хваткими, последнюю перед испытаниями и потому самую тщательную настройку аппаратуры, помчался в бывшую обкомовскую больницу. Там вот уже вторую неделю отлёживался после микроинсульта, всё никак не мог отойти ведущий конструктор Кошелев, и надо было срочно обговорить и уточнить напоследок все параметры с Александром Витальевичем, сам алгоритм испытательного процесса, да вдобавок окончательно утвердить его по защищённой связи с начальством полигона. Установку уже через два дня предстояло погрузить на военно-транспортный и вместе с группой испытателей вылететь в астраханскую степь.

А тут ещё из ФСБ позвонили, и куратор их, подполковник Барвенков, сообщил, что меньше чем через месяц состоится в городе международная конференция по борьбе с терроризмом, ожидается делегация из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и вам, дескать, предстоит выступить на секции радиоэлектронной борьбы с этим самым клятым терроризмом, подготовьтесь. Да когда, возмутился Сарычев, вы же знаете, что на мне сейчас... Как не знать; но и дело это, рокотнул настоятельно в трубку подполковник, важное — для вас именно... Доклад готовьте, вы же этими средствами борьбы занимались раньше, вот вам и карты в руки, как раз и осветите им вчерашний день... Там, кстати, и спец оттуда будут, серьёзные. И тут особый момент есть, вас касающийся... ну, вернётесь — поговорим.

Какой ещё момент, злился Сарычев, разбирая в дорогу и раскладывая в папки документацию, — личный, тем более? Темой той он занимался вынужденно лет шесть назад, когда глупо, если не преступно обрезали остатки финансирования под главную задачу их группы — противодействию “Иджис”. И хорошо, что хоть и с запозданием, с потерей крайне дорогого времени, но одумались наверху, вернули к делу насущному, не менее чем стратегическому, и не без помощи фээбэшников... Да и эта контора так порой намудрит на пустом месте, что только дивишься: им что, заняться больше нечем, чтобы прокорм свой сытный хоть как-то оправдать? Их бы на наши харчи... Охранять получше наконец-то стали, и то ладно. Даже и подумать тошно, сколько и чего ушло, утекло за эти четверть века на запад и восток, сколько мозгов увели, пусть и продажных, — не сосчитать теперь уже, не вернуть...

И какое там, к чёрту, сотрудничество может быть с зачинщиками-модераторами этого самого террора по всему белу свету? А тем паче по военно-техническому, которого у ведомства Сарычева с ними в принципе быть не могло? Это кремлёвские могут ещё изображать, как сейчас, некое взаимодействие по этой части, а то и снюхаться с той стороной или вовсе лечь под победителя, сдавая всё, до чего дотянуться смогли, как в девяностых. А у них, технарей комплекса оборонного, весь смысл существования только и исключительно в соперничестве, задаче опережения врага в гонке, какой не видно конца, и в ней тайна — безусловный императив, потому и кошелевская лаборатория радиоэлектронной борьбы даже в их закрытом научно-производственном объединении ютится под вполне безобидной вывеской группы измерительной аппаратуры.

И теперь надо было подготовить к конференции текст “пустышки” для шефов этого самого международного терроризма: мол, гоняемся за ними, вашими подшефными, по горам, по лесам кавказским с аналогами ваших же поисковых систем, какие давно продаются на выставочных, считай — улич-

ных развалах рынка вооружений... Не про последние же, в самом деле, наработки им рассказывать. Посадил за эту писанину своего давнего по этой проблематике помощника Лёшу Пасько, остающегося теперь на лаборатории за старшего, уж он-то понапишет, без малой даже усмешки умеющий анекдоты травить, разыграть дурака, на летучее словцо спорый: “Хочешь попасть в Америку? Ноу проблем-с, записывайся служить в ракетные войска...” Сарычев лишь предупредил его, полусуто: “Не вздумай им при встрече про Кука спеть... что ни говори, а демаскировка. Измерители-исполнители мы, лохи, и взять с нас нечего...” — “Тюк — прямо в темя — и нету Кука...” — не лишил себя удовольствия, прогнусавил Пасько, памятуя инцидент прошлогодний тот, наделавший смутного переполоху в западной и радостного гогота в нашей блогосфере. Что ж, кое-что дали понять пиндосам, как окрестила их молодёжь нынешняя, да и давно пора, с явной же провокацией пёрли к побережью, охамели совсем; а Крым — ломоть отрезанный уже, позднеенько спохватились. Но ещё доводить и доводить до ума саму возможность эту ребятам из Калуги, ему неизвестным, по дальнедействию особенно и нужной компактности, ещё намаются.

Астраханская сентябрьская жара не удивила, как не удивлял в прошлые приезды сюда и жёсткий зимний ветродуй, роздыху не дававший, хотя вроде бы на одной параллели с Парижем, если не южнее... ну, родину не выбирали — ни здешние, ни его родова рязанская, разве что первопоселенцы незапамятные, да и те чаще по нужде, скорее всего, по произволению случая, истории самой. Не выбирали, она свыше даётся — раз и навсегда.

Намотавшись по зною, в раскалённых кунгах насидевшись за мониторами, одна была здесь услада — арбузы достославные; сюда, по преданию, даже и сам Фадеев езживал на промывку ими почеч-печени, по-петровски претрудившихся в державном деле, с чёрным хлебушком весьма они в том действительны. Вечерами, когда притихал суховец, как это во всякой большой степи бывает, принимали за ужином местную же водку — в меру, для релаксации, так выразился прикомандированный к ним от ФСБ Климушкин, общительный мужичок неизвестного звания; и он же, заранее похохатывая, рассказал, как год назад на свадьбе племянницы побывал. У жениха в уральской казачьей станице справляли свадебку, в курене добротном с просторными тёмными сениями — в один угол которых накатано было этих арбузов центнера с три, не меньше... В первый же в застолье перерыв они, мужики из родственников новых, этак парочку взрезали, съели в охотку, нахваливали... и, знаете, ничуть не хуже этих, астраханских. А во второй раз когда вышли из-за столов — нету в сенцах кавунов, ни одного! Они к бабам-сватым, какие на столы подавали: что за чудеса, где?! Те в смущении, не знают толком, что и сказать, отговориться чем: мешают, мол, не успели загодя убрать... а чему бы там мешать? И всё ж докопался, доспросился он у одной старухи, суровой такой. Да на вас тогда водки не напасёшься, сказала без церемоний, с арбузами-то... не упоишь.

— Прочищают чердачок, выходит. Так что поосторожней вы с ними, парни, — всё похохатывая, добавил он. — Этак никакого запаса не хватит...

Вышел потом Сарычев с ним из гостинички покурить на просвеженный воздух, лицом к меркнувшему на глазах, прогорающему до пепельно-сизого кострищу заката.

— Всё спросить хотел, да как-то не соберусь... — сказал Климушкин, любопытства ему не занимать было — похоже, и профессионального тоже. — С эсминцем этим... ну, с “Дональдом Куком” — не ваша в прошлом году работа? Здорово сработано, ничего не скажешь — молодца!

— Да краем уха, от ребят из отдела соседнего — инфа какая-то или де-за в инете прошла, мол... Нет, что вы! Некогда, понимаете? — пожаловался он. Мало кому можно верить было, предающим-продающим, перебежчикам всяким в смуте нынешней — несть числа, и незачем охраннику знать, чем они тут занимаются. Нельзя исключить и проверку со стороны охраны, о чём приходилось не раз предупреждать своих. — С зимы в замотке, шэф в больнице, а тут на полигон ещё, жариться... А что там такого уж? Я и сразу-то не очень понял, что к чему там, а тем более верить...

— Ну как же: под Крымом “сушка” наша атаку симитировала, локаторы вырубил им, вся электроника там сдохла, говорят... голыми руками бери! Перетрухали на этом новейшем “Куке” всерьёз и к румынам скорее, в порт забились. Чуть не три десятка из экипажа на увольнение подала, писали же — паника...

— А источники, достоверность? — был неумолим в скептицизме Сарычев. — Простите, я хоть и не спец по этой части, но какой-никакой учёный всё-таки и мне достоверные факты нужны, подтверждённые многократно и из разных источников, а не с этой... с помойки всемирной, интернета. Да и что эта за аппаратура военного назначения, если она не защищена? У них с этим неплохо налажено, насколько знаю, и что-то не верю я...

— Да?

— Да. И у нас, я слышал, над защитой такой работают. А наше тут дело маленькое — измерять, что дадут.

Над защитой нападением — только так, и другой военной логики нам теперь не оставлено. Фэсбэшник, скорее всего, не поверил ему, но выразил всем лицом явное разочарование, понятное в любом случае; впрочем, ему-то и отсутствие результата — тоже результат. Но не им, кошелевцам: трёхступенчатая, предназначенная сбивать наши “стратеги” на взлёте, достигающая и до спутников противоракета системы “Иджис” на этих эсминцах крайне опасна, и суметь вырубать эту систему не только с самолётов, но и с орбитальных установок наших — вот сверхзадача, от которой уклониться некуда.

Там, под Крымом, наши задействовали уже известный комплекс “Хибины”, и задача отпугнуть пиндосов была, конечно же, чисто демонстративной, отвлекающей; а главной — снять радиометрические характеристики их аппаратуры, какую врубили те в активном режиме, не зря же “сушка” буквально ездила им по головам, аж двенадцать заходов сделала условно-боевых... Ну, может, и засветила им экраны, “белый шум” нагнала. Коллеги калужские передали эти снятые параметры сюда, для стационарной мишени, уже смонтированной, и теперь осталось опробовать своё изделие и на ней тоже. А комплекс их самолётный сработал там на дистанции ближе некуда, тут-то всё понятно и ожидаемо по спецэффекту было. В боевых же условиях “сушку” обнаружили бы и попытались завалить километров за сто пятьдесят, а то и все двести... И ещё не совсем ясно, помогли бы ей “Хибины”?

Кошелев же сумел настоять в верхах на своей, параллельной разработке на основе радиофотоники, со сходным, но по радиоэлектронным и прочим параметрам весьма значительно усиленным фактором воздействия, поражения — так по их теоретическим расчётам выходило, по крайней мере. Но одно дело — расчёты, и совсем другое — “в железе” их воплотить. Над этим и билась столько времени, и вот вроде получалось, не сглазить бы.

Получалось, с разным успехом, но одну за другой гасили на дальних дистанциях, выводили из строя системы целеуказания летающих мишеней, имитаторов высокоточных средств с джипис-навигацией, с инерциальной наводкой на цель тоже. И стационарную, имитирующую эсминец тот же, обрабатывали довольно результативно. На мишени, разумеется, ставились аналоги известных нам зарубежных средств защиты, очень даже неплохих, но энергетический мгновенный, как бросок кобры, импульс кошелевского “Аспида” пробивал и их, вызывая сбои в начинке электронной, и чем сложнее она, известно, тем результативней даже самая малая в ней помеха, сигнал искажённый. Так приходилось растолковывать некоторым лицам из военной приёмки. Другое дело, что испытывалась установка не на последних образцах, не на главной фишке их — противоракете “Стэндерд-3”, где безусловно поработали они над новейшей защитой, и потому доводить эффективность “Аспида” надо, желательно, до двойной-тройной, чтоб уж наверняка. Если бы ещё не позорное двадцатилетнее, считай, отставание в микропроцессорной технике, не та разруха и нищета, в какой приходилось работать, все и всяческие предательства переживать, преодолевать... И всё-таки было теперь с чем возвращаться домой, вдобавок и с появившимися у них намётками на доработку, обнадёживающими тоже. Главное же, с результатами этими не могло уже быть и речи о закрытии проекта.

III

А пока, вернувшись, оформляли итоги испытаний, Сарычева два раза приглашали в областную ФСБ, причём вместе с подполковником Барвенковым принимал его приехавший из столицы немаленький, по всему судя, чин их ведомства, назвавшийся Константином Павловичем, — на удивление молодой, с вязким каким-то, показалось, взглядом и поставленной речью:

— Небезызвестно нам стало, Андрей Иванович, что в составе делегации под эгидой организации по безопасности и сотрудничеству Европы, старухи довольно-таки злобной, прибудет ваш бывший однокашник Нежуринский Остап... э-э... Тарасович, спец по делу по вашему. И по нашим данным...

— Вот как?! — перебил Сарычев, никогда-то не считал нужным, как это невольно подчас делали другие, оказывать некое почтение функционерам этого заведения. — Ну да, ещё по техникуму электронного приборостроения, краснодарскому. По институту потом, в одной комнате как-то жили в общежитии. От армии откосил, как я слышал. Больше не виделись.

— Знаем. Так вот, спец, которого служба безпеки незалежній оплошно, я бы сказал — беспечно выпустила за кордон. Впрочем, оплошно или по настоянию из-за бугра, по согласию — это ещё вопрос... Что вы о нём скажете?

— Высокого класса знаток, читал его работы. В нашей специальной, в инопрессе потом.

— И что за... хлопец был, сам по себе?

— Как человек? Умён. Практичен весьма, рационалист... — Причём отъявленный, вспомнилось ему: вечно высчитывал всё, даже то, чего высчитать, казалось бы, никак нельзя... да, из троих девиц выбирал наиболее подходящую себе, балансы плюсов и минусов сводил, советовался с ними, троими соседями по комнате, скорее, чем друзьями. Нет, друзей не припоминал у него, очень уж себя любил. — Хотя, вообще-то, всегда корректен был, со всеми ладил. Обаять на время умел, эгоизм ему в этом как-то вот не мешал... И где ж он сейчас?

— В Роттердаме по местожительству числится, вилла у него там. А по функциональной прописке сразу в нескольких местах засветился — и, сдаётся, ещё не во всех... шустёр, однако. Но, в основном, вахтовым методом-способом за океаном, в корпорации “Локхид Мартин”, куда как известной вам.

— Ну да, как разработчики “Иджис”...

— Так вот, — встал Константин Павлович, прошёлся вдоль стола для заседаний, сцепив руки за спиной, развернулся, — должен сообщить, что они имеют явные виды на вас.

— На меня? — не стал скрывать удивления Сарычев. — Вот уж не знаю, чем обязан... Это что ж, и я где-то тоже, выходит... засветился?

— Не думаем, — успокаивающе сказал Барвенков. — Просто они так же читают ваше, отслеживают публикации открытые, высчитывают ваши возможности, вероятия всякие. И едет Нежуринский, а с ним один давний беглый, ещё из эмигрантов третьей волны...

— Ушлый, как таких Даль определяет в словаре своём, — добавил и Константин Павлович, усмехнулся. — Ушедший то есть слинявший, если по-простонародному.

— ...Едут они с этим ушлым Дридзо не от натовской шарашки, разумеется, с теми-то давно у нас заморожено всё, а от обээс Европы, этакой мифотворческой якобы. И, кстати, знаете, какой предлог отыскиали? Подписанный нами заключительный документ аж Лиссабонской, две тысячи второго года, конференции по предотвращению терроризма и борьбы с ним... А значит, комплексы подавления, глушения связи интересуют их, усыпления дистанционных фугасов и прочее... ну, вы-то знаете лучше. Впрочем, борьба-то эта всегда актуальна, потому какого-никакого сотрудничества не прерываем: нет-нет, да подкидывают нам данные — как и мы им. Но этих-то, по всему, совсем другое сюда привело, уязвимость джипис-навигации их нервирует, да и самих спутников тоже, систем целенавещения и разведки, локаторов

тех же. И чем-то вот заинтересовали вы их, именно по вашей, научной части. А в этом мы, сами понимаете, разобраться не можем... чем? Щупать вас будут.

— Я, простите, не девка на выданье.

— И тем не менее, — улыбнулся одними губами, кажется, московский гость. — Да вы и... не упирайтесь особо-то. — И упредил возражение, ладонь поднял: — Подождите, у меня к вам один и не сказать, чтобы простой, вопрос. Знаем, что вы долго шли к нынешнему решению, с Кошелевым я уже встречался: если много мучиться, что-нибудь получится, такой вот алгоритм... У вас было направление в поисках его, решения, которое казалось самым перспективным и не передовым даже, а намного опережающим современные разработки — и которое оказалось потом совершенно тупиковым?

— Было одно, — подавил вздох Сарычев, глядявываясь в молодого да борзого этого, из нового, видно, поколения псов государевых... добро бы так. И чего он хочет-то? Сказал ему о той статье Александр Витальевич — и если сказал, то что? Статью свою тогда, три с лишним года назад, Сарычев опубликовал в открытом научном сборнике, терагерцовым технологиям посвящённом, и тянула она едва ль не на открытие — и, слава Богу, не дотянула, вовремя они с той заманивающей дорожки сошли... — Да что об этом теперь...

— И возможность того направления, вы думаете, известна им? В принципе если?

— Нежуринскому? Наверное, они ж, как вы говорите, читают наше. — Значит, что-то сказал всё же Кошелев ему? Сказал, иначе вопроса этого и не было бы. — Он и сам далеко заглядывает, надо ему должное отдать... теоретически, по крайней мере. А что у них в загашнике...

— Далеко не всегда заглянешь. Но всё-таки знаем, что именно на вас они глаз положили. И спрошу прямо, без экивоков: а не могли бы вы как-то навести их при встрече на... ну, скажем, на тот вариант решения, который вы отвергли? В этом-то вы заинтересованы, полагаю, даже побольше нашего.

“Вашего”, “нашего”... После августа девяноста первого, октября девяноста третьего никакой веры и быть не могло этой конторе, если не сказать хуже. И ещё разобраться предстояло в самом её непосредственном участии в томговоре-заговоре — но это, по всему судя, не завтра и даже не послезавтра будет... Выслеживала, щемила как могла всех несогласных с разбоем в стране своей, преступников и предателей пасла-хранила, на каких пробы ставить негде, давила и Союз офицеров, где тогда привелось Сарычеву посодествовать общему делу, за что и лишён был ими работы в нижегородском КБ на два почти года — тоже потерянное время... И лишь в последние лет семь-восемь что-то вроде бы начало выправляться: видно, и до них дошло, что с англосаксами безопасней врагами быть, нежели какими-то там союзниками, рано или поздно — обманут самым низким образом, кинут же, сольют, с отработанным материалом там не церемонятся. Что отступать, пресмыкаясь, дальше просто некуда, разве что в окончательное ничтожество своё, холуяж колониальный... задом в стену упёрлись, в кремлёвскую? Похоже на то. Но и в любом случае надо было помнить, что контора всегда выстраивает свои комбинации, в которых ты — пешка. И решил, что углы обходить себе дороже:

— Значит, принято решение засветить и нас? Меня, в частности?

— Почему вы так думаете?

— А как я смогу тогда не раскрыть свою... ну, компетентность в сугобо засекреченном? Поймёт же, чем я вплотную занимаюсь... Предателя, сразу скажу, сыграть не сумею, не моё.

— А если, как выразились вы, на чисто теоретическом уровне, по направлению поиска только? — пропустил мимо ушей “предателя” Константин Павлович, опять хозяйски прошелся по кабинету; и остановился напротив, настойчиво, почти требовательно глянул. — И вообще, игра эта стоит свеч, по-вашему?

Вот именно, игра, и не стали бы свечи золотыми — в случае, если однокашник сообразит, что его наводят на ложный след. Да и уверен ли ты, что этот самый путь ими не пройден уже? Или даже оба разом, их возможности даже и сейчас с нашими не сравнить, с дозированными на самое не-

обходимое лишь, всё в догонялки вечные играем... Про статью сказать? Нет, с этим погодить. И не спешил с ответом, поскольку его пока и не было.

— Не помешает и... водочки русской, виски там — с некоторым перебором, — помог начальнику Барвенков, лучась доброжелательством в отёкшем — с похмелья, что ли? — фейсе с азиатски узкими, утонувшими в прищуре глазами. — И, разумеется, ваша давняя обида за советскую власть и в особенности на российскую... Ходу, мол, никакого, задвинули всякие бездари от демократии, выскочки... знаем, имеее что сказать. Прибедняться придётся.

— Было бы с чем прибедняться... А если лишнего наговорю? — Он уже думал, как можно выстроить тот предполагаемый разговор, если он состоится вообще, и как в нём о статье упомянуть, да и надо ль... — Объективного? Не потяните на цугундер?

— Ничего, стершим как-нибудь, — отозвался смешком подполковник. — Толерантности нас учить не надо... выучили, с излишком даже.

— Подумать дайте, — сказал наконец он. Затея эта ему никак не нравилась, зыбкая совершенно, ни на чём конкретном не основанная, можно сказать — фантазийная. А у них, небось, как операция по бумагам отчётным проходит, да ещё под каким-нибудь кодовым словом мудрёным... ох, затейники. Или что-то ещё у них с этим связано, задумано, более существенное, а его встреча с однокашником лишь деталь? Что ни говори, а рыбка важная к ним в сети заплыла, и упустить такой момент, какие-то возможности свои не хотят. — Дело рискованное, навредить можно больше, чем...

— Думайте, — согласился молодой. — А завтра встретимся, скажете своё... э-э... видение этого дела. Главное, психологически достоверно выстроить всё, нужный алгоритм найти...

И дался ему этот алгоритм.

IV

Дородный, благодушный, Остап при встрече их с простецким размахом вlepил свою крепкую толстую ладонь в рукопожатье, приобнял дружески:

— Да ты ли это, Андрюша?! Глазам не верю!..

— Он самый. Тут не то что глазам — уму-разуму не вот поверишь... так нас разметало. Самый тот. А ты забурел, гляжу!

— Ну уж... Трошки подрос в ширину, а так... Человек, знаешь, величина постоянная. Константа, как его ни... конвертируй. Как ни переделывай.

— Конвертируетесь вы, за бугром. А мы тут разве что в девальвацию всё больше...

— Всё прибедняетесь? — Надо же, и словечко-то барвенковское повторил; и отшагнул, представил спутника, низкорослого, губастого, с седой шевелюрой на великоватой голове человека, внимательными голубыми глазами за массивными очками уже разглядывающего Сарычева: — Савелий, коллега мой из Ноттингема, прошу жаловать! И не стеснять себя официальнойщиной и долбаным дипэтикетом; проще же сказать — друг давний и, более того, собутыльник!

— Бутылки только у нас разные, — неожиданным баритонистым голосом произнёс Савелий, пожимая руку, быстрой усмешкой сопроводив слова свои, — и мировоззрения... Терпеть не могу этот его британский шнапс, гадость подслащённую. Да ещё пацифизм его.

— Что, такой уж миролюбивый? — спросил и Сарычев под одобрительное ржание однокашника, улыбаясь и поглядывая искоса на него. — Неужто разоружился?

— В теории погряз, не вытащу... — кивнул серьёзно своей головой Савелий, руки развёл. — Нет бы какой-нибудь мудрый детектор... э-э... сообразить, чтобы как под хиджаб к бабёнке, “чёрной вдове” очередной залезть — так нет, он-таки формулы выписывает, интегралы... Но где присядем-то?

Шумела, переговаривалась разномыслия конференция, уже кто-то и спорил в толпе, жестикуюлируя снятыми очками, и они поднялись из фойе по нескольким ступенькам в зал, болтая на ходу и приглядывая себе место,

рассаживались и другие. Да, Кошелев сразу поставил в известность молодого, да раннего о той сарычевской статье и, тем самым, подал тому идею как-то использовать её в разработке пришлого, другой зацепки для объяснения интереса вояжёра из Роттердама к какому-то там кандидату физико-математических наук Сарычеву и быть-то не могло... Хотя, какая это, к чёрту, разработка, да и что она может дать для них, для него тоже, фактического? Он законченный технарь, и ему нужны более-менее чёткие данные и факты, на основании которых можно было бы сделать необходимые ему достоверные выводы. А тут одни вопросы: читали в “Локхид Мартин”, нет ли, и насколько всерьёз её восприняли, продвинулись ли по этому пути... гаданьем не разживёшься, опять вспомнил он мать, её присловье своеобычное, и неплохо защемило под сердцем. Всю-то жизнь учительницей начальных классов пасла, собирала вокруг себя ребятшек, и помнит ли кто её из них, давным-давно не то что повзрослевших, а уже успевших состареть малость, поразъехавшись кто куда, даже и в заграницы всякие, как вот эти?.. Наверяд ли, разве что в горе каком, в неладах с самим собою, перебирая год за годом существование смладу своё, найти пытаюсь, где не то сделал, не туда свернул, но и это сомнительно, а в каком-никаком благополучии и вовсе. Это как бы корешки ранней памяти отмирают первоначальные у “многих-некоторых”, как дед говаривал, и вроде дерево как дерево стоит, шумит даже, а подпитка уже не та. Считанные до сороковин дни остались, сестра звонила уже, и надо успеть, помянуть не в церкви городской только, а в доме своём, где всё живо ещё ею, отцом, отрочеством собственным бездумным, когда за каким-то счастьем проблематичным рвался, дурачок, всенепременно вперёд, в завтра — а оно оказалось далеко позади, там...

— Как жил-то? — привалясь к нему через подлокотник кресла тугим плечом, с некоей ноткой сочувствия, даже заботы спросил виолголоса Остап, уже начались доклады.

— Да так... пёстро. В чересполосицу. Сам видишь, какие нам тут годочки выпали. Не соскучишься, не то что у вас.

— Ну, нам тоже, знаешь, швидко вертеться приходится. Но хоть знаешь, за что...

Спрашивать — а мы, выходит, ни за что, да? — не то что не имело смысла, а просто вопрошание это не умещалось в их, ушных, формат мышления и хоть какого-то чувствования, так это можно было понять. Вот сидит рядом грузноватый солидный человек с породистым славянским, да что там — русским лицом, губы во властной складке, привыкшие повелевать не менее чем коллективом тамошним научным, если не целым направлением, право имеющие приказывать, выдавать фундаментальные решения, под которые тут же, может статься, отпускаются миллиарды “зелени”... Ничем же не отличается от типичных наших среднего ранга вожяков комплекса военно-промышленного, какие тащат на себе КБ, лаборатории, целые научно-производственные объединения или даже школы научные. Единоковец и однокашник, интеллеktуал, учёный едва ль не с мировым именем, флёрот относительной для спецслужб секретности прикрытым, один из модераторов нового прорыва в микроволновой фотонике — и, тем не менее, в столь широкий формат разума этого человека не может в принципе, сдаётся, вместиться его, Сарычева, Кошелева ли, ценностное “за что”...

Означать это могло лишь одно, сыздетства уяснённое от деда Павла Анисимовича, войну в Праге доконавшего. И заключалось оно в простом, даже и обыденном каком-то, теперь в конкретно-чувственном обличе рядом сидящем, ближе некуда: враг. Лютый, на всё твоё замахнувшийся.

Что ни говори, а странным, острым одновременно было осознание этого как непреложного, не переменимого никакими обстоятельствами или действиями, всё расставляющего на свои места факта. Ни эта его дружеская, якобы надёжная плотность плеча, ни доверительная прищурка скошенных на тебя глаз, с явным же и, право, доброжелательным любопытством взглядывающих — ну-ка, мол, каким стал? — и приглушённый рокоток голоса, на подступающие хвори как своему жалующийся, — ничего уже не могло изменить давно и окончательно решённого, не подлежащего никакому, даже

самому теперь малому исправлению. Вот как, оказывается, всегдашнее понимание становится куда как конкретным, не отвлечённым, можно сказать — сиомоментным знанием, кто перед тобой... И чем на это ответить, кроме как произвольным своим, с запозданием за собою замеченным движением, когда отодвинулся чуть, откинулся на другую сторону кресла?

А на будущее лето, меж тем, назначена очередная — через каждые пять лет — встреча их, однокашников, четвёртая по счёту. И ведь что удивило ещё в первую их сходку: даже с теми из них, кто был тебе вполне антипатичен, встречаешься как с дружками былыми, расспрашиваешь, в воспоминания ударяешься — общие, чем-то вот дорогие всем, да и понятно — молодостью, вместе худо-бедно проведённой, чем же ещё. Но вот о нём, рядом теперь сидящем, ни на одну встречу приехать не удосужившемся, как-то не вспоминали ни разу, понял он сейчас, хотя всех вроде перебирали, кого с ними нет, особенно же успевших уйти навсегда... Что-то вот не было такого, хотя ему-то, Сарычеву, первому бы надо вспомнить, как-никак одна специализация, да и публикациями вроде как перекликались — через кордон. Видно, не у них троих только, зиму с Нежуринским проживших по случаю в одной комнате, набиралось это отчуждение, копилось...

Всё это, впрочем, могло быть просто кажущимся теперь, надуманным задним числом; а есть то, что есть, что сложилось силою и личных, и ведь не менее чем исторических обстоятельств, подлегла “незалежная”, как обманутая посулами пьяная баба, под соблазнительей, а верней уж — продалась. Верхушечная шляхта извечная продалась, мазена коллективная, о народе никогда-то не думавшая.

Что ж, к кому-кому, а к врагам не стать привыкать. И уже и поглядывал, и слушал не то чтобы равнодушно, а с ожиданием: ну, и за чем тебя сюда принесло, за каким?

Выступить пригласили в конце второго заседания, уже под вечер. Возвратясь от трибуны, встретил удивлённый взгляд Нежуринского:

— Что это ты на террор переключился, на мелочёвку? У тебя же куда более серьёзные темы были, фундаментальные, можно сказать — на переднем крае...

— А не пускают на передок... да там, кажется, и без меня тесно. Как и у всякого корыта. Ну ты-то знаешь, что тебе рассказывать.

— Но есть же интересы чистой науки, — с долей возмущения сказал, высунувшись из-за осадистой фигуры собутельника, боднул упрямо своей головой Савелий. — Нельзя давать прикладникам тащить всё в свой карман.

— А у вас они не попираются, интересы? Не поверю.

— Да, но ведь же ж и возможности совсем другие, — вовсе загорячился тот. — Множество независимых фондов есть с независимыми тоже, захочу подчеркнуть, экспертами высокой, э-э, квалификации, заходи в любой, предлагай на грант, доказывай. И тебе расчислят, сколько ты стоишь, и уверяю вас — дадут! Это менеджмент науки называется, и это на Западе поставлено, доложу вам, убедительно.

Нет, всё-таки явные нелады с русским языком обнаруживались у Савелия, в самой интонации англоязычной, да оно и понятно, сколько в чужезни жить. К тому ж и здесь, на конференции, то и дело слышен был он, английский, крайне Сарычеву неприятный всегда, ещё со школьных лет, хотя и пришлось малость освоить, техническую литературу читая. Оккупационный, вот именно, и не только для нас, а и для мира всего, отвратный высокомерностью своей, с этой его горячей кашей во рту, через губу со всеми. Да и лживый изначально: пишется буквами одно, читается совсем по-другому, а уж думается ими, англосаксами, и вовсе третье-четвёртое... На что нелюбим был с кинофильмов военных, на какие сбегалась ребятня в сельский их клуб, лающий немецкий, командный для унтерменшей, но и тот не вызывал такого отторжения внутреннего и недоверия. Немец, думалось им вслух как-то с ребятами вместе, если уж враг, так это — враг, но быть может и другом верным; а вот о британце с пиндосом этого уж никогда не скажешь, лицемерны и эгоистичны до самой исподницы, продадут и купят зараз — и опять продадут... Джентльмены её величества подлости, как

окрестил их вгорячах Пасько, и ему-то простительно было, потерявшему брата-мировотворца на границе с Грузией, известно кем вооружённой и натравленной на Цхинвал. Так ведь паразитируют же на всех, добавил кто-то, грабят же за пустую “зелень” свою, мошенники, насильники над планетой первейшие!..

Но эмоциями, не менее пустыми, дела не поправишь, одним хвалёным духом технологическую мощь не превозможешь, все понимали, и первым Лёшка: “Хватит базарить... к станкам!”

— А ведь и посядять пора, да что там — встречу обмыть! Ты как, Андрияша, не против? Ресторан в гостинице вроде неплох...

На весьма кстати сказанное было чем ответить:

— Только “за”. Но давай не в гостинице, мало ль...

— А что, резонно, — сказал одобрительно Савелий, понимающе улыбнулся, выказав крупные зубы, переглянулся и с Нежуринским, и с ним, — что такси... э-э... порекомендует — так, да? Только в такой... в знатный, давно по-русски не кушал.

— Да будет так!

На улице ноябрьский моросил дождь, с шелестом слякотным сновали машины. Такси “порекомендовало”, выбирал наудачу из трёх названных ресторанов сам Дридзо, и полчаса спустя они сидели в углу небольшого, но с претензией на роскошь обставленного зала.

— Не рассчитывайте, что я буду на шермака, — усмехаясь, сказал им сразу Сарычев, листая меню. — За себя заплачу.

Однокашник, оценив шутку, зашёлся тихим, памятным по курсу ещё ржанием — в чём-то и вправду ничуть не меняется человек, и кабы это обязательно было для его преподанных с отрочества установок на всю жизнь... Но человек-то меняется, похоже, быстрее всех в мире, и если кто опережает царя природы, то это лишь его же техносфера. Сила которой, сдаётся иногда, не по его разуму.

— Да рассчитался бы я, — благодушно проговорил, отсмеявшись, Остап, — для нас это, в евро, сущие пустяки же.

— Но не для меня, — опять пришлось сострить ему, и теперь уже и Савелий рассмеялся дробно, с придыханиями, откинув крупную голову с пышными её сединами, у всякого свой смех. Со стороны посмотреть — очень даже тёплая компания старых друзей сошлась, да и типажи подобрались занятные, впору в какую-нибудь киношку лирическую, с ностальгическим уклоном; и сам он в ней кстати, с его-то сухим нервическим лицом типичного неудачника — в гардеробе определил, причёсываясь...

Пили, ели-закусывали и опять пили — они с Савелием кедровую водку, а Нежуринский виски из солидной бутылки, всё выяснив об однокашниках, где и как они устроились, куда кого раскидала жизнь, на полухохлацкий иногда переходя:

— Та я и ни знав, шо вы тут кучкуетесь. А тогда же и грант заполучив, на стажировку в Силиконовую... Но будет о них, ты-то вот как?

— Да так... Была группа неплохая, лаборатория — расформировали. Болтался, теперь вот в измерители засунули... извольте измерять фантомы их прожектов. — И фразу, у ребят расхожую, вспомнил: — Слушай, не грузи! Работаю, думаю. А там видно станет. Станет, не всё сразу.

— Но вот у тебя же в “Вестнике” статья... Они что, не читали её?

— Не прочитали, скажем так.

— Но как же ж можно?! — Это Савелий возмущился, с пьяниною глядя, и без того толстую губу выпятив, да и порядком они уже выпили с излишеством уставленного стола. — Это ж надо неадекватно мыслить, не меньше! Но почему?

— Да долбаки потому что!.. — с облегчением — вот оно! — бросил Сарычев, пьяной уверенности добавив, не помешает... что, попробовать по идеям статьи решили? Так ведь уже три года, как опубликована, даже раньше; и что же, значит — занялись уже? Ввязались в работу проверки, в эксперименты тягомотные, там сам чёрт ногу сломит, а что-то не получается у них, застряли и — к первоисточнику? Весьма похоже на то, и не зря он, выхо-

дит, столько времени убил, извилин выпрямил на неё, на выводы её парадоксальные, захватывающие...

— Ну, я бы не сказал, чтоб у вас такие уж... — несколько неуверенно проговорил Остап, глаза его стали на какой-то момент совершенно трезвыми. — А Сливцов с Кошелевым? А Курихин тот же?

— Да что от них зависит, тем более от меня вот?! Там бери повыше, и что им наука, заморочки наши? Им результат подавай — прикладной, как вот Савелий сказал, чтобы перед Рогозиным выставиться, орденоч отхватить. А того не разумеют, что от построений теоретических до какого-никакого там железа — дистанция огромного размера порой, а в России так особенно... Жлобы оборонки! Ну ничего, я не в гостях — дома. Подождём, ещё придёт-ся им нас просить...

— Ты так думаешь?

— А я не думаю — я знаю.

Хотели фаната-неудачника от науки увидеть, в своей правоте убеждённого, да хоть в статье той же? Да пожалуйста, вот он, не совсем верной рукой за бутылку “Нарзана” взявшийся было, но передумавший, водки набухавший с переливом этому Дриздо, или как там его, и себе затем:

— За науку, за м-матерь нашу!

Вышли, и однокашник как-то сокрушённо мотнул головой, маслинку забросил в рот:

— Нет, брат, я тоже от своих ждал, на неньке ридной... хрен дождётся. А всё потому, что цели у нас и у них совершенно разные, это ты верно розумыв. И надо ль ждать?

— Да-да, наука чистой же должна быть, — закивал Савелий, предостерегающий палец поднял. — И независимой от бонзов государства, от их претензий. Свобода — вот наш категоричный императив!

— Ну, свобода — она о двух концах... — хмуро засомневался Сарычев. — А на подножном корму не пробовали? В девяностых, да и в нулевых её было — хоть завались, а зубы на полку... не забыл ещё в своих куцах, Остапчик, что значит сие?

— Как же забудешь... — невесело посмеялся тот, орудя вилкой и ножом. — А ты что же, невыездной?

— Да какое там... — Выездной, подумал он: в Сыры-Шаган раньше, а теперь в Ашалук и прочие подобные, где попустынной. — Ничего, сейчас вроде как одумываться стали на самом наверху, допетрили: без фундаментальной — никуда, только в третий мир. В прибалты, умных из себя корчить. И у соседей за забором подвижки по микроволновой начались, у нас тоже зашевелились... Дождёмся, терпением нас Бог не обидел... добра-то.

— Да надо ль, Андрюша?! — горячо возразил, вскинулся Остап, даже и вилку, какой ловко управлялся, отбросил. — Знаем мы, как дуже швидко тут всё робыться... А у тебя — подывись! — уже ж и голова, як той ковыл, и годы наши с ярмарки едут... Открепляйся, брат, и к нам, дело продолжишь своё — мирового же уровня может быть дело, как ты не понимаешь?!

И Савелий встрепенулся, с изумлением на друга-собутельника глядя, не сразу будто сказанному им поверив; и брови вскинул:

— А это ж идея! Нет, это имеет большой смысл. Я вот уже и думаю, в какой университет лучше... Таланту вакансии всегда есть, и вы, Андрей, будьте без сомнения. Хотите в Европе, хотите в Юнайтед стейс, вольному есть воля...

— Да уж посодействуем!

— Вы что, серьёзно? — как бы не понимая тоже, перевёл он глаза с одного на другого. Грубо работают; да, впрочем, для наших продажных кандидатов в ушлые тоньше и не требуется. — Как-то странно всё это, ни с того ни с сего...

— Ну, почему же? — Нежуринский откинулся в кресле, совсем посерьёзился, глаза в прищуре строгими стали. — Савушка вот варианты перебирает уже, университеты, фонды эти самые... Не надо. Мой добрый друг просто не в курсе; но так и быть, скажу. Я имею полномочия приглашать к сотрудничеству учёных, желающих послужить науке, и готов давать им гарантии...

Какие? Ну, это вопрос личных договорённостей, контракции. И не слабые, скажу.

— Слушайте, я вообще не понимаю, как вы там живёте, в чужени той? — Сарычев спросил это вполне искренне — ничуть не надеясь, впрочем, на такой же откровенный ответ, не для того они прискакали сюда. Но любопытно было, со злорадством уже пополам, каким враньём ответят, без лжи тут не обойдёшься. — Это ж надо всё время почти на чужом, — и чуть не добавил: на гнусном же... — языке что-то выговаривать, сообщаться с другими, считай что жить... а думать на своём? Так это ж личности раздвоение, шизофрения... Да я сдохну там.

— Ну ты загнул, брат! — смешком своим, несколько даже игривым, показалось, ржанием отозвался однокашник, враз насторожившегося взгляда не спуская... ещё тот “братец волк”, и опять его, в который уже раз, посетило это теперь не странное, нет — достовернейшее знание, напомнило о том, чего и не забывал: кто перед ним... И отчего-то легко стало, свободно, и не то что от определённости той, она-то всегда была, а потому, наверное, что полностью ситуацией овладел, стал над ней.

— Английский? — очень удивился Савелий. — Но для меня так не чужой. Мама меня, она живая и сейчас, с четырёх лет учила им. И потом, из России мы выехали в семьдесят третьем, мне было меньше чем восемь лет, и я его... э-э... уяснил себе очень быстро. И мы даже дома то на русском, то на английском, и ничего.

Ага, вот ещё почему ты косноязычишь так, усмехнулся про себя Сарычев; можно сказать, потомственный ушлый, даже ментальный. И мать-то жива ещё у него...

— Да всё гораздо проще, Андрей, — снисходительно морщился уже однокашник, минералки плеснул себе, глотнул. — Там есть с кем разговаривать на своём. Ты даже не представляешь себе, сколько сейчас там наших...

— Ваших? Да знаю, миллионы там, в одном Лондонграде за триста тысяч. Дезертиров, как самое малое... да, как минимум. Я так это понимаю, уж не обессудьте.

— Погодь трошки, не урузумыв...

— Да что тут понимать? — Весёлая злость взяла, и он смотрел уже в самые глаза тому, будто ещё не понимающие, и даже сомнения тронуло: а может, и в самом деле “не урузумыв”? С них, шкурников, станется. — Хреново в России? Да уж не сладко, одно слово — антисистема, кровососов всё никак не стряхнём, как ни пытаемся. А у нэньки — так там вообще руина, жутко глядеть...

— И что?

— Да ничего. Тут беда на беде, работы невпроворот, каждый стоящий, дельный каждый человек на счету, а вы кинули большую мать и... На пээмже, за баблом, за карьерой, жирок наживать — скажи, не так? По совести если?

— Ну, знаешь... — Лицо Нежурина стало стянулось, заметней стали барские брыля по углам пренебрежительно похилившихся губ. — Человек свободен выбирать себе... Если бы не выбирал, лучшего не искал, то так бы и остался полускотом.

— Это человек вообще — а сын если, а дочь? Когда на то пошло, то вот скот-то как раз не знает ни отца, ни матери, не помнит, что ему какая-то там родина...

— Вот ты как? А что делать прикажешь, когда десяток лет положил на замысел свой, на аспирантском да кандидатском куске чёрством, приносишь им готовое, хоть в серийное запускай, на конвейер, а они тебе: нэ трэба?.. До президенту дойшов, по-нашему сказать, — ни-и, кажут, грошей нэма, базы производственной тоже нэмае уже, расташылы, институт на ладан дышать... Хороша ж маты! А дома шаром покати, и детки за полу дёргают: этому джину, той видик, жене так и вовсе... А я — творец, я не могу не творить, мне без этого куда — дублёнками турецкими торговать? В алколизм?! На дно?..

— Если государство отказывает человеку, то и гражданин имеет полное право отказать такому государству, — сурово и, пожалуй, уже враждебно

изрёк Дридзо, с явным беспокойством слушавший их, очками блеснул. — И никаких других дефиниций этого права быть не должно. Не должно!

— Есть государство, а есть отечество, — пожал плечами Сарычев: а уязвил, однако, задёргалось... — Не видите разницу?

— И что тут обо мне... а сколько других, ведь творцов же! — обошёл вопрос его, напористо насел голосом одноклассник, даже некой багровостью взялось лицо. — Целые научные школы из бюджета выбрасывали, направления — вот именно в отбросы, в челноки! А художников взять, философов, а писателей — и у вас, и у нас?! Самого Солженицына выкинули, Зиновьева, Бродского — геть за бугор!

— И Довлатова... да, Довлатова! И Войновича!..

— Ну, положим, ваши-то пысьменныки все остались, они-то самые сведомые, ярые... — не сдержал усмешки он. — Я хоть и технарь, а читаю кое-что. А этот... Да говнецо этот ваш Довлатов, честно-то говоря, вроде того, из Петушков который. Ханьги же заурядные, а раздули из них... Или тот, из Женевы, забыл фамилию, какой додумался, что мы с англосаксами и французами прочими против китайцев воевать будем... дичь же! И не о них одних речь — обо всех, кто из Рашки свалил... так они это называют? Да пусть валяют, скатертью дорога. — Не повышая голоса говорил, но уже и зло, откровенно, давно это нагорело в нём, да и у многих своих, кого знал. — Воздух чище. Понять можно первую эмиграцию, ну и вторую там даже — а этих? Кто наворовался под завязку, кто на жительство сытное, комфортное, да ещё, видите ли, ностальгия у них... раз предавши, кто им поверит, шкурникам? Обрадовались, ушлые, на готовенькое они кинулись, на чужое — а дом свой хоть гори... И пошли они все. Все, даже эти, которые родину там любят — издалека... И пусть не возвращаются, у нас и без того дерьма хватает. Без них обойдёмся как-нибудь, управимся, не из таких бед вылезали.

— Та-ак... Это и о нас, значит?

Но прозвучало-то, скорее, утвердительно, знают о себе.

— Ну, а как вы думаете? — Нет, уж раз начал, то надо было договорить, и это куда важнее для него оказалось сейчас, нужнее, чем все эти задумки-заморочки фээсбэшные, да и... достоверней ведь, вдруг понял он. И что может достовернее быть, чем правда сама? Вот пусть и кушают — и те, и эти... — Писаки — ладно, они хоть где пописывать могут, на мать поплёвывать, ну не угодила она им; а вот мы... Уж не знаю, на кого вы там в частности робыте, но ведь в любом случае на сторону противную, нет разве? — И достал из внутреннего кармана потёртый свой бумажник, дензнаки немногие перебрал — ага, есть одна, и хорошо, что разменять не успел с зарплаты. — На врага, чего уж тут незнайкой-то прикидываться. “Творцы”... А это похуже будет, чем дезертирство паршивое.

— Что ж, это твой выбор... — проговорил Нежуринский, смерив его холодным, разве что с долею презренья взглядом, в самообладании, несмотря на вышитое даже, ему нельзя было отказать; и кивнул на него спутнику своему, насмешливости прибавил в голосе — злобной, всё-таки не хватило выдержки: — Вот, полюбуйся на этого на реликта совкового — давно не видел?

— Да нет у меня выбора, — с легким уже сердцем сказал он, вставая, пятитысячную купюру подеунул под тарелку, — и никогда не было. В ваше дерьмо угодить — это не выбор.

И повернулся, направился к выходу, спиной ощущая там, позади, тяжёлое молчание.

Вышел на улицу, вдохнул студёной, острой после кухонных запахов ресторана свежести её, сырости. Дождь перестал, заметно похолодало, и уже надо было ждать скоро первого снега. Жена отчего-то любила поздние осенние сроки, мокрую, к земле прибитую, но ещё не потерявшую разноцветье лиственную опаль в недалёком парке, цветочек какой-нибудь бледный, совсем уж приподзальный, и называла пору эту не иначе как “прелестный ноябрь”. Ехать надо было послезавтра, и хорошо, если бы подморозило у нас, всё грязи поменьше, хотя асфальт с год уже как в Рязановку проложили, чуть не до дому.